

In Memoriam

На смерть Латура

*9 октября 2022 года ушел из жизни знаменитый французский мыслитель Бруно Латур, один из основоположников акторно-сетевой теории, автор книг «Нового времени не было», «Пересборка социального», «Политики природы», «Исследование модусов существования» и других. Публикуем некролог, написанный **Олегом Хархординым**.*

Мы последний раз виделись с Бруно 11 июля. Он собирался уехать на следующий день из Парижа в свой сельский дом, не дожидаясь обычного для французов дедлайна для отпусков — Дня взятия Бастилии. Все прогнозы обещали *canicules*, а это по-французски означает не «каникулы», а «собачьи дни», если исходить из латинской этимологии этого слова, — то есть жуткую жару. Погода мощно влияла на расписание многих, если не всех. Мы ужинали в ливанском ресторане недалеко от дома Латура с ним и его соавтором Николаем Шульцем. Меня интересовали детали аргументов, приведенных в их совместной книге про экологический класс; их же больше интересовало то, что происходило на Украине. Военные действия посреди Европы, как казалось, отменили на время все климатические заботы. Разговор о возможной скорой и внезапной гибели человечества как-то сдвинул в неактуальность разговор о постепенной его смерти от климатических перемен.

Перед тем как мы расстались, я задал Бруно дурацкий профессиональный вопрос: «Что вы пишете сейчас?» Он ответил: «Я не пишу. Читаю. Знаешь *La Grande Mort* у Рильке?» Я мотнул головой — Рильке был из той плеяды модернистских авторов, на которых, как на китах, покоился XX век, как сказала Ахматова (у нее, правда, троицей святых были Кафка, Джойс и Пруст), — но читать Рильке в оригинале, учитывая всего три года, потраченных в университете на изучение нежеланного немецкого, было мне не по силам. Дойдя до дома, в интернете я быстро нашел строки из французского перевода третьей книги «Часослова»:

O mon Dieu, donne à chacun sa propre mort,
donne à chacun la mort née de sa propre vie
où il connut la mort et la misère.

Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille,
mais le fruit qui est au centre de tout
c'est la grande mort que chacun porte en soi.

Классический русский перевод Сергея Петрова выглядит так:

Любому, Боже, смерть его пошли —
Той самой жизнью умирать, когда
В нем горе, разум и любовь прошли!

Ведь мы одна листва да кожура,
А смерть великая есть плод нутра,
И в нас он долгожданная нужда¹.

Перевод этот, как казалось мне, должен был бы сказать «умирать той самой смертью, которая проистекает из жизни, проведенной в любви, смысле и нужде» («Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not»). В переводе Николая Болдырева:

Господь, дай каждому заслуженный финал.
Пусть смерть придет из глубины прожитой жизни,
из той любви, нужды, что, сотворив, познал.

Кто мы? всего лишь листья, кожура, листва.
А смерть великая, что в нас, в своей отчизне,
то плод, вокруг которого наш танец торжества².

Перечитывая эту часть «Часослова» сейчас, после смерти Бруно, хочется примитивно найти в строках этих стихов ключ к последним моментам его жизни. Рильке писал о великой смерти, которая зреет в каждом из нас как плод, вокруг которого все вертится в этой нашей жизни. Но чаще всего к концу человеческой жизни этот плод созреть не успевает. И мы боимся умирать, так как умираем не своей, сладкой, великой смертью, а умираем чужой, не нашей, нежеланной. А плод великой смерти остается незрелым или недоношенным — перевод Сергея Петрова передает это с помощью метафоры аборта:

Как жены-пустоцветы, не рожая,
Мы не приносим сладкой смерти плод.
<...>
Мы с вечностью сотворили блуд,
И нашей смерти выкидыш рожаем
<...>

1 Рильке Р.М. Часослов. СПб.: Амфора, 2012. С. 123.

2 Рильке Р.М. Избранные сочинения и судьба: В 5 т. / Сост., пер. с нем., ст. и коммент. Н. Болдырева. Т. 2. М.: Водолей, 2017. С. 100.

И все кончают, мучаясь и тужась,
сечением кесаревым потаскух³.

Английский подстрочный перевод вместе с напечатанным рядом с ним немецким оригиналом дают мне примерно такое понимание строк, что следуют за этими: Бог может ниспослать в мир одного или нескольких, способных на великую смерть. Этот один станет «чреватым, когда он небывалое зачнет», и через некоторое время «разродится смертию-владыкой», как переводит Петров⁴. Роль поэта — ждать этого Смертоносца (Tod-Gebärer, our own death's bearer⁵) и быть его предтечей и восславителем его миссии как Мессии. Миссия же в том, чтобы показать, что Великая смерть — их собственная, родная и сладкая смерть, — доступна людям, и потому ее не надо бояться.

Банальным будет утверждение о том, что Рильке всю жизнь думал о смерти. Привести многие строки его стихов об этом несложно. Незадолго до своей смерти (13.12.1925) Рильке писал польскому поэту и переводчику Витольду Гулевичу про свои стихи:

Утверждение жизни и утверждение смерти в «Элегиях» становится единством. Признавать одну без другой было бы, как здесь это выясняется и провозглашается, в конечном счете лишь ограниченностью, исключаящей все бесконечное. Смерть есть скрытая от нас, не освещенная нами *сторона жизни*: мы должны попытаться выработать то высшее сознание нашего бытия, *которое, будучи у себя дома в обеих неразграниченных сферах, неистоичимо питается из обеих...* Истинный образ жизни простирается сквозь обе области, кровь величайшего круговорота устремляется сквозь обе: *нет ни этого, ни того света, но лишь великое единство*, где превосходящие нас существа, «ангелы», пребывают дома...

Мы, здешние и сегодняшние, отнюдь не утолены своим мгновеньем во временном мире, пребывая в нем; но мы непрерывно переходим к предшественникам, к нашим истокам и к тем, кто, вероятно, придет после нас. В этом величайшем, «открытом» мире все *присутствуют* — нельзя сказать, чтобы «одновременно», ибо как раз исчезновение времени и предполагает, что все они *есть*. Преходящее повсеместно врывается в это глубокое бытие. И таким образом, все воплощения и формы здешнего следует не просто использовать в их временной ограниченности, но, насколько мы это в состоянии делать, включать в те превосходящие смыслы, к которым мы причастны. Однако вовсе не в *христианской парадигме* (от которой я все более страстно ухожу), но в некоем чисто земном, глубоко земном, блаженно земном осознании делать так, чтобы все *здесь* нами созерцаемое и осозаемое вводить в более широкий, в широчайший круг бытия. Нет, не на тот свет, чья тень омрачает землю, но в некую целостность, в *эту целостность*⁶.

Хайдеггер именно это письмо цитирует в эссе «Нужны ли поэты?» (1946), вошедшем в его знаменитый послевоенный сборник «Holzwege». Правда, другой отрывок из этого письма. Для Хайдеггера важно сказать: животное и растение, по Рильке, впущены в открытость мира, они стоят в нем. Человек же

3 Рильке Р.М. Часослов. С. 125.

4 Там же. С. 126.

5 Rilke R.M. The Book of Hours / Transl. by S. Ranson. Rochester, N.Y.: Camden House, 2008. P. 170—171.

6 Рильке Р.М. Избранные сочинения и судьба. Т. 5. С. 73—75.

стоит «перед» миром, уставившись на него и разглядывая его как представление, поставленное перед ним и стоящее перед ним для разглядывания и предметного обращения с ним. Мир вметан перед (пред-метан) человеком Нового времени для покорения его. Это предметно-инструментальное отношение к миру опасно для сущности человека. Дело даже не в том, что недавно взорванная атомная бомба угрожает угробить весь мир; дело в том, что поэты помнят про сущность человека (по-другому относиться к миру), а в повседневной жизни почти все мы подчинены голому хотению для самопродвижения к успеху внутри этого мира, чтобы сделать жизнь или счастливой, или хотя бы сносной. Сущности человека угрожает неограниченность его голого хотения в смысле преднамеренной победительной устремленности-к-успеху во всем. Из-за постоянной тяги производить все больше предметов для улучшения человеческой жизни, она подчиняется этому опредмечиванию, а смерть становится чем-то негативным. Рильке же, по Хайдеггеру, помнит об обратном. Смерть — преграда к опредмечиванию мира, она напоминает о том, что можно уклониться от этого опредмечивания, и побуждает к этому. Потому Рильке писал в письме от 6 января 1923 года: «...слово “смерть” надо прочитывать без негации»⁷.

Латур был многогранен, и среди его достижений можно отметить и то, что в книге «Нового времени не было» он гениально высмеял Хайдеггера. Однако строки Хайдеггера позволяют нам заметить в строках Рильке, которые читал Бруно перед смертью, внимание к тому, что мы умираем иначе, чем звери и растения, которые открыты миру по-другому, нежели мы:

О Господи! Мы жальче жалких тварей,
Зане у них слепая смерть зверей.
А мы — мы неподвластны даже ей.
Пошли нам смерть-разумницу скорее,
Чтобы жизнь она в цветах весенней яри
Пораньше заплела нам из ветвей
<...>
Ужель в моей гордыне я не прав,
И лучше нас деревья?⁸

Иными словами, зверям и растениям умирать не страшно; их смерть если и не их, не своя, то, по крайней мере, им не страшна. И если мы способны взрастить в себе великую смерть, то не наша, чужая смерть нам тоже будет не страшна.

Как взрастить ее в себе? Хайдеггер цитировал письмо Рильке Гулевичу ради заключительных строк пассажа о смерти как части целостности «жизнь — смерть». Вот он:

Природа, предметы нашего обихода и пользования — зыбко-неустойчивы и преходящи; и однако они, покуда мы здесь, являются *нашим* достоянием, нашими друзьями, посвященными в наши нужды и в наши радости, как это было уже и у наших предков. Так что нам не только следует не разрушать, не умалять, не унижать всё здешнее, но как раз ради его бренности, которую они делят с нами, мы

7 Хайдеггер М. О поэтах и поэзии. Гельдерлин, Рильке, Тракл / Пер. Н. Болдырев. М.: Водолей, 2017. С. 45, 54, 65.

8 Рильке Р.М. Часослов. С. 124—125.

должны постигать все явления и вещи и трансформировать их, преобразовывать неким глубочайше задушевым постижением. Преображать? Да, ибо наша задача — так выстраданно и так страстно принять в себя эту предвещающе-преходящую, дряхлеющую землю, чтобы ее сущность снова «невидимо» в нас восстала. *Мы — пчелы невидимого. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'Invisible*⁹.

Латур — в этих строках. Во-первых, книгу про несводимость (вещей к чему-либо другому — иными словами, надо дать вещам быть самими собой) он считал своим ранним манифестом, слишком ницшеанским (или делезовским?), но проложившим путь к писавшейся сорок лет зрелой книгой о модусах существования. Во-вторых, последние годы его трудов все потрачены на заботу если не о дряхлеющей, то о кончающейся Земле (если так можно перевести рилькевский термин «*hinfallge Erde*», цитируемый Хайдеггером)¹⁰. В-третьих, его настойчивая мысль, что современная технонаука покоится прежде всего на аппаратах визуализации, открыла нам не видимую без этих аппаратов правду о том, что мы делаем, когда занимаемся наукой.

И слово «преображать» в тексте Рильке не кажется мне случайным — особенно если мы применим его к Латуре. Такие православные теологи, как Каллистос (Тимоти) Уэр, считали одной из главных отличительных черт православия доктрину трансфигурации — преобразования и соответствующую ей практику *theosis*'а, обожения¹¹. «Часослов» Рильке написан под влиянием двух визитов в Россию в 1899 и 1900 годах вместе с Лу Андреас-Саломе. Многие комментаторы отмечают его всеохватывающее преобразование во время пасхальной службы в Москве, после чего он не критически относился к народу России как к хранящему глубокую религиозную истину мира, иногда называл Россию своей истинной родиной. Рильке, как мы знаем, посещал Толстого, познакомился с отцом Бориса Пастернака, с кем потом долго переписывался (переписка с самим Борисом случилась только незадолго до смерти Рильке). Про свое понимание Толстого Рильке записал в дневнике в 1900 году:

Я говорил о страхе перед смертью, о том, что наступает такой момент, когда тебя впервые охватывает сознание смерти, и что это одновременно — первый момент возвышенной и всесторонней жизни. Я говорил о необходимости стать кем-то, чтобы получить возможность не быть никем, и еще о том, что такое изменение, втиснутое в немногие отведенные умирающему часы, протекает крайне насильственно. И я назвал Толстого человеком, который сделал из жизни дракона, чтобы вступить с ним в битву и стать героем¹².

Комментарий Константина Азадовского на странице до этого говорит, что Рильке считал, что Толстой на самом деле не исполнил своей жизненной миссии, и потому ему должно было страшно умирать. Потому что «лишь тот, кто

-
- 9 «Мы иступленно собираем мед Видимого, накапливая его в больших золотых ульях Невидимого» (фр.) (*Рильке Р.М. Избранные сочинения и судьба. Т. 5. С. 75; Хайдеггер М. О поэтах и поэзии. С. 71.*)
- 10 *Heidegger M. Holzwege // Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt am Main: Klostermann, 1977. S. 308.*
- 11 *Ware T. The Orthodox Church. London: Penguin, 1964. P. 230—231, 239—242.*
- 12 Цит. по: *Азадовский К. Рильке и Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 70.*

создал нечто великое, обретает право на бессмертие, и ему нечего бояться, что он умрет»¹³.

Эта интерпретация позиции Рильке по поводу Толстого слишком похожа на прочитывание жизни по древнегреческой или римской модели — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — которая легла в основу пушкинского века русской литературы. Потому есть соблазн прочесть и жизнь Латура так же — как процесс снискания им себе земного бессмертия за счет своих замечательных достижений. Например, в такую интерпретацию жизни Латура (по модели Рильке в версии Азадовского) легко укладывается следующий примечательный эпизод. Харри Коллинз, один из друзей-соперников Бруно по социологии науки, после двух дней преподавания в Европейском университете в Санкт-Петербурге в начале 2010-х годов воскликнул, обращаясь к студентам: «Ну сколько можно цитировать Латура! Я думал, что еду в Санкт-Петербург, а оказалось, что приехал в Бруноград!»

Другие скажут, что популярность Латура в России, возможно, объясняется не антично-греческо-римским, а скрыто-христианским, и иногда теологическим измерением его творчества. Не зря его диссертация была написана о Шарле Пеги и экзегезе священных текстов. Но как и Рильке хотел уйти от христианства к чистому познанию и преображению вещи, так и мне хочется подчеркнуть тот же мотив в Латуре. Отсюда любовь к Земле, отсюда особая стойкость при перспективе скорой смерти. К последним дням Латура применимо то, что Рильке писал в письме 1915 года о Толстом:

Его могучее восприятие природы (я не знаю другого человека, который был бы так страстно привязан к природе) удивительным образом заставляло его думать и писать, исходя из целого, из ощущения жизни, которое было настолько **пронизано наиточнейше распределенной смертью**, что она, казалось, присутствует всюду, как **своеобразная пряность, усугубляющая вкус жизни**¹⁴.

Латур не дал нам понять, что он боялся смерти. Хотя, если боялся, то у него, как у Толстого (неявного героя книжки Бруно про микробов), «та сила, с которой он осознавал еще и признавал свой растраченный страх, превращалась у него в последний момент, кто знает, в недоступную действительность, неожиданно становясь и прочным фундаментом этой башни [страха], и пейзажем, и небом, и ветром, и птицами, летающими вокруг нее»¹⁵.

13 Там же. С. 69.

14 Цит. по: Там же. С. 94–95. Курсив мой. — О.Х.

15 Цит. по: Там же.